

ПРОЛОГ

Пейдж

Николас не выпускает меня в мой собственный дом, но я наблюдаю за своей семьей издалека. Так что, хотя я и вынуждена ночевать на лужайке, я совершенно точно знаю, когда Николас несет Макса в детскую, чтобы сменить ему подгузник. Включается свет — маленькая лампа-динозавр с абажуром, покрытым изображениями доисторических костей, — и на шторе появляется силуэт рук моего супруга, снимающих памперс с нашего сына.

До моего бегства из дома, после которого прошло уже три месяца, Николас почти не прикасался к подгузникам. С другой стороны, а что ему оставалось? У него не было выбора. Николас всегда славился умением с честью выходить из экстремальных ситуаций.

Макс что-то лопочет, нанизывая звучные слоги, как яркие бусины. Любопытство влечет меня к дому. Я встаю и взбираюсь на низкие ветки ближайшего к дому дуба. Приподнявшись на цыпочки, я подтягиваюсь еще выше, и мой подбородок оказывается на одном уровне с подоконником детской. Я так долго находилась в темноте, что, когда в лицо бьет яркий желтый свет, начинаю моргать.

Николас застегивает спальник Макса. Когда он наклоняется к нему, Макс поднимает ручки, хватает его галстук и запикивает себе в рот. Отбирая галстук у нашего сына, Николас замечает меня. Он берет малыша на руки и поворачивает так, что я уже не вижу его личика. Он подходит к окну, единственному, в которое можно заглянуть, и смотрит на меня. Он не улыбается и ничего не говорит. Затем он задергивает шторы. Теперь я ничего не вижу, кроме шеренги воздушных шариков, улыбающихся пони и слонят, играющих на трюмбонах, которых

сама рисовала на стенах во время беременности и которым молилась, надеясь, что волшебные сказки помогут моим страхам рассеяться, а моему сынишке гарантируют счастливое детство.

* * *

В эту ночь светит луна. Она такая белая и тяжелая, что я не могу уснуть из страха быть раздавленной. Я вспоминаю сон, который вел меня к моей исчезнувшей маме. Конечно, теперь я знаю, что это был совсем не сон, а какая-никакая, но явь. Это воспоминание начало являться ко мне после рождения Макса. Сначала в первую ночь после родов, потом после того, как мы привезли его домой. Иногда я видела его несколько раз за ночь. Чаще всего это воспоминание настигало меня, когда Макс просыпался и требовал, чтобы его накормили, или перепеленали, или приласкали. Мне стыдно в этом признаваться, но я очень долго не понимала, что все это означает.

Разводы на потолке маминой кухни были бледными и розовыми, а очертаниями напоминали чистокровных лошадей.

— Смотри, — говорила мама, усаживая меня к себе на колени и показывая куда-то вверх. — Ты видишь нос? А заплетенный в косу хвост?

Мы разглядывали наших лошадей каждый день. После завтрака, пока мама разгружала посудомоечную машину, я сидела на пластиковом кухонном столе и представляла, что звон фарфоровых тарелок и кружек — это на самом деле стук волшебных копыт. После ужина мы часто сидели в темноте, прислушиваясь к ворчанию белья в стиралке и сушильной машине. Мама целовала мои волосы и нашептывала названия городов, куда мы поскачем на наших лошадях: Теллурайд, Скарборо, Джаспер. Мы так и засыпали в кухне, где нас и находил отец. Он был изобретателем, а кроме того подрабатывал программистом и возвращался домой очень поздно. Я много раз показывала ему лошадей на потолке, но он их так и не увидел.

Когда я сказала об этом маме, она ответила, что нам просто придется ему помочь. Как-то раз она усадила меня себе на плечи, а сама взобралась на низкую скамеечку. Она вручила мне

черный маркер с резким запахом лакрицы и велела обвести то, что я вижу. Потом я раскрасила лошадей мелками. Огромную пачку мелков шестидесяти четырех цветов мне купила в «Уол-Марте» мама. Одна лошадь вышла гнедой с белой звездой во лбу, вторая — рыже-чалой, а еще там были две аппалузы в ярко-оранжевых пятнах. Мама пририсовала лошадям сильные ноги, напряженные спины, развевающиеся черные гривы. Она выдвинула разделочный стол на середину кухни и подняла меня на него. За окном гудело обычное чикагское лето. Я лежала рядом с мамой, прижавшись своим маленьким плечиком к ее крепкому плечу. Мы смотрели на скачущих по потолку коней.

— О-о, Пейдж! — умиротворенно вздохнула мама. — Вот это достижение!

Мне было всего пять, и я еще не знала слова «достижение». Я также не поняла, что так рассердило отца и почему мама так весело над ним смеялась. Все, что я знаю, так это то, что все вечера напролет после ухода мамы я лежала на кухонном столе и пыталась ощутить касание ее плеча. Я пыталась услышать ее голос, то высокий, то низкий. Но когда прошло ровно три месяца, папа взял побелку и раскатал ее по потолку, дюйм за дюймом истребив моих прелестных чистокровных лошадей. Когда он закончил работу, потолок выглядел так, словно ни лошадей, ни даже моей мамы вообще никогда не было на свете.

* * *

Свет в спальне вспыхивает в половине третьего ночи, пробуждая в моей душе надежду, которая гаснет так же быстро, как и свет. Макс стал намного спокойнее и уже не просыпается несколько раз за ночь. Я извиваясь выползаю из спального мешка и открываю багажник машины. Я роюсь среди пустых банок из-под диетической колы и прочего хлама, пока мне не удастся извлечь на свет божий альбом и карандаши.

Мне пришлось купить их по дороге. Я понятия не имела, куда засунула свои собственные карандаши, как только стало ясно, что я не смогу посещать художественную школу и одновременно ухаживать за Максом. Но, сбежав из дома, я снова

начала рисовать. Я рисовала всякую ерунду вроде оберток от бигмаков, которые покупала себе на обед, дорожных знаков, рассыпанной на сиденье мелочи. Потом, не обращая внимания на одеревеневшие за долгие годы пальцы, я перешла к людям и нарисовала кассиршу из мини-маркета, мальчишек, играющих в стикбол. Я рисовала ирландских героев и богов, рассказы о которых слушала всю свою жизнь. Мало-помалу ко мне возвращалось забытое ощущение ясновидения в пальцах, с которым я, похоже, родилась.

Я никогда не была обычной художницей. Я всегда вкладывала в изображения на бумаге какой-то скрытый смысл. Я люблю заполнять все пространство и расцвечивать темные пятна. Я рисую так близко к краю бумаги, что изображения рискуют с нее свалиться. Иногда на моих рисунках появляются вещи, которых я и сама не понимаю. Случается, окончив портрет, я обнаруживаю в темных изгибах ушной раковины или в ямочке ключицы то, чего и не собиралась изображать. Мои работы неизменно меня удивляют. Они раскрывают чужие секреты, рассказывают о запретной любви. Одним словом, на них попадает то, чего мне знать не полагалось. Люди смотрят на мои картины как замороженные. Они спрашивают, знаю ли я, что все это означает. Я этого никогда не знаю. Я просто рисую, а они должны сами разбираться со своими тайными страстями.

Я не знаю, откуда у меня этот дар. Он проявляется не во всех рисунках. Первый раз это случилось, когда в седьмом классе на уроке изобразительного искусства я нарисовала очертания зданий Чикаго на фоне неба. Но я заполнила светлые облака видениями просторных пустых залов и распахнутых настежь дверей. А в углу притаилось едва заметное изображение замка. В самой высокой башне замка у открытого окна стояла женщина и прижимала руки к сердцу. Встревоженные монахини позвонили моему отцу. Увидев рисунок, он побледнел. «Я не знал, что ты так хорошо помнишь свою маму», — пробормотал он.

Когда я вернулась и Николас отказался впускать меня в дом, я сделала единственное, что мне оставалось, — окружила се-

бя портретами мужа и сына. Я сделала набросок лица Николаса в тот момент, когда он открыл дверь и увидел меня. Я нарисовала Макса, которого Николас держал на руках. Я приклеила эти рисунки к приборной доске автомобиля. Они несовершенно с точки зрения техники, но я уловила внутренние переживания, и это главное.

Сегодня, ожидая возвращения Николаса из больницы, я рисовала по памяти. Я с обеих сторон покрыла набросками множество листов бумаги. Теперь у меня есть больше шестидесяти рисунков Николаса и Макса.

Сейчас я работаю над рисунком, который начала сегодня вечером. Я так увлеклась, что не заметила Николаса, пока он не вышел на крыльцо. Его подобно нимбу окружает мягкий белый свет.

— Пейдж? — окликает он. — Пейдж?

Я подхожу ближе, туда, где он может меня увидеть.

— А... — говорит Николас и трет виски. — Я думал, ты уехала.

— Я все еще здесь, — отвечаю я. — Я никуда не уеду.

Николас скрещивает руки на груди.

— Тебе не кажется, что ты поздно спохватилась? — спрашивает он. Я боюсь, что он вот-вот развернется и скроется за дверью, но он лишь потуже запахивает халат и садится на ступеньку крыльца. — Что ты делаешь? — спрашивает он, кивая на альбом у меня в руках.

— Рисую тебя. И Макса, — отвечаю я и показываю ему один из рисунков.

— Отлично, — говорит он. — Это у тебя всегда здорово получалось.

Я не помню, когда Николас последний раз меня хвалил. Хвалил хоть за что-нибудь. Он смотрит на меня, и я вижу, что выдержка обходится ему очень дорого. У него усталый и потухший взгляд. У нас с ним глаза одного цвета и оттенка. Светло-голубые.

В эту секунду, глядя на Николаса, я вижу перед собой молодого человека, который когда-то мечтал вскарабкаться на

самый верх, который возвращался домой и замирал в моих объятиях, вновь обретая себя, после того как умирал один из его пациентов. А в его глазах отражается девушка, которая когда-то верила в любовь.

— Я хотела бы его подержать, — шепчу я, и глаза Николаса темнеют. На них как будто опускаются шторы.

— У тебя была такая возможность. Ты ее не ценила, — говорит он, а потом поднимается и уходит в дом. В наш дом.

При свете луны я работаю над рисунком. Мне кажется, что Николасу тоже не удастся уснуть. Завтра он будет не в самой лучшей форме, и это разозлит его еще больше. Наверное, из-за того, что мое внимание раздваивается, все выходит не так, как я планировала, Макс у меня получился очень хорошо. Я нарисовала его липкие кулачки, его бархатистые вихры... Мне не сразу удастся понять, что же в этом рисунке не так. В этот раз, вместо того чтобы нарисовать Макса вместе с Николасом, я нарисовала с ним себя. Он сидит у меня на руках, вцепившись мне в волосы. Посторонний человек не заметил бы в рисунке ничего необычного. Но на розовой ладошке Макса я вижу узорчатый венок из листьев, в центре которого я нарисовала свою маму. Она бежит, а на руках у нее, как обвинительный приговор, ребенок, которого я так и не родила.